



Х <З. Н. ГИППИУС>

Литературные заметки

Стихи о Прекрасной Даме

I

Без божества — без вдохновенья¹.

Наши дни — трезвые, живые дни усиленной, необходимой работы. Дни весенние, но серые, без солнца. И необходимая работа поглощает силы работников, самых разнообразных, теперь сходящихся. Литература скромно отступила пока перед политикой, метафизика закрыла лицо перед жизнью, ведь жизнь не ждет!

В такие напряженные дни, когда особенно близка опасность, для каждого, незаметно принять первое и необходимое — за последнее, окончательное и единственное (именно потому, что оно первое и необходимое, хотя *только* первое и необходимое) — в такие дни живительно увидеть нежную книжку молодых стихов. Такова книжка А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме».

Книжка эта родилась точно вне временности — вне современности, во всяком случае. Она и стара, и нова, хотя, может быть, все-таки не вечна, ибо соткана из слишком легкой паутины. Она, может быть, только отдаленный намек на ту красоту, правду и сиянье, которые должны спуститься с небес на землю и властно обвить жизнь; а эти «бледные, белые, снеговые намеки» — конечно, должны таять, если коснется их горячее дыхание земли.

Не будем же требовать от этой милой книжки более того, что она может дать; она и так дает нам много, освежает и утешает нас, посылает легкий, мгновенный отдых. Мы устаем от трезво-

го серого дня и его несомненностей. И мы рады, что поэт говорит нам:

Я вышел в ночь — узнать, понять
 Далекий шорох, близкий ропот,
 Несуществующих принять,
 Поверить в мнимый конский топот...

Отраднo все-таки, что есть и жива еще «Прекрасная Дама», «Она», «Дева, Заря, Купина», которая «тайно тревожна и тайно любима»².

Я, отрок, зажигаю свечи,
 Огонь кадильный берегу.
 Она — без мысли и без речи
 На том смеется берегу...

Она, Она, везде Она — и песни ее рыцаря так прекрасны, во всем их однообразии, что не знаешь, которую выписать. Кто Она? Конечно, *не* земная дама средневековых рыцарей; может быть, «Дева Радужных Ворот» Владимира Соловьева?³ Вечная Женственность? София-Премудрость? Все равно. Мы не знаем, врят ли знает ее и ее рыцарь. Он не знает более того, что говорит:

Вхожу я в темные храмы,
 Совершаю бедный обряд.
 Там жду я Прекрасной Дамы
 В мерцаньи красных лампад.
 В тени у высокой колонны
 Дрожу от скрипа дверей.
 А в лицо мне глядит, озаренный,
 Только образ, лишь сон о Ней...

Это там, где

Только образ, лишь сон о Ней...

Но рыцарь имеет «виденья, непостижные уму»⁴, он видит не только «сны о Ней».

Покраснели и гаснут ступени.
 Ты сказала сама: Приду.

И даже там, у «образа только», и там не всегда «лишь сны».

И с этой ветхой позолоты,
 Из этой страшной глубины,
 На праздник мой спустился Кто-то
 С улыбкой ласковой Жены⁵.

Она — все, она посещает своего рыцаря, и он верен Ей, и не устает петь Ее.

Я, изнуренный и премудрый,
Восстав от тягостного сна,
Перед Тобою, Златокудрой,
Склоняю долу знамена.

Но странно... Это не «Бедный рыцарь», имевший свое «виденье, непостижное уму»; хотя и родной старому бедному рыцарю — но не он, не совсем он, и Она, его виденье, не «Она» Бедного рыцаря; и странно то, что тот, старый, вечный, — до сих пор пленительнее этого нового, бедного рыцаря с его Дамой «в бледных платьях», его «белых намеков». Легкая, легкая паутина... Тонкая, тонкая, рвущаяся красота... Налет эстетизма. Налет смерти, даже без смерти...

«Бедный рыцарь» — кидался в битвы, восклицая «Lumen coelum, Sancta Rosa», — побеждал мусульман... А рыцарь новый с самого начала говорит:

Я к людям не выйду навстречу,
Испугаюсь хулы и похвал.
Пред Тобой Одною отвечу
За то, что всю жизнь молчал.

Воздушная мертвенность, русалочий холод есть в этих, таких далеких, слишком далеких земле песнях о слишком прозрачной «Прекрасной Даме». Это не Sancta Rosa, это облачная Лилия; это не только не Мать-Дева, но уже почти и не Дева... «Восковой огонек»... «Робкое пламя церковной свечи»...⁶ Это тот новый мистико-эстетический романтизм, который пленяет отрывом от земной крови нашу усталую душу, но пленяет на мгновенье; не утоляет, не может удержать ее у себя навсегда.

Старый, чистый романтизм был сильнее, потому что был цельнее, ярче, действеннее, реальнее. Новый — слишком растворился в эстетике и мистике. Книга Блока мистична, но отнюдь не религиозна. Мистика, так же как эстетика, так же, впрочем, как и голый романтизм, — одинаково на *этом* берегу, и между ними и религией одинаково лежит пропасть.

Надо же, наконец, сказать с ясностью: *нет пути, нет ни одного, который подводил бы к религии*. Но зато все пути, все до одного (только пройти до конца) подводят к пропасти, за которой лежит религия. И разница между путями лишь та, что на некоторых человек, предчувствуя конечную пропасть и момент, когда он будет на краю, — может вырастить себе крылья;

другие, извилистые пути, приводят к пропасти неожиданно, и бескрылому остается лишь упасть вниз. Пути мистики — и даже эстетики — таковы, что на них легче могут вырасти крылья у сильных, у ясных, у тех, кто умеет хотеть и желает жить. Нежный, слабый, паутинный, влюбленный столько же в смерть, сколько в жизнь, рыцарь бледной Прекрасной Дамы — сумел вырастить себе лишь слабо мерцающие крылья бабочки. Он неверными и короткими взлетами поднимается над пропастью; но пропасть широка; крылья бабочки не осияют ее. Крылья бабочки скоро устают, быстро слабеют. Прекрасная мистика рыцаря — безрелигиозна, безбожественна.

II

Не сотвори себе кумира...⁷

Прежде чем сказать последнее слово о любопытной и все-таки отрадной книге Блока, мне хочется сделать отступление и поговорить более определенно о путях, *из которых ни один не приводит к религии*, все — к предрелигиозной пропасти. Я хочу остановиться на следующем очень любопытном явлении. Каждый из путей, принятый не за путь, а за цель, уничтожает стоящего на нем немедленно, ранее чем даже достигнута предрелигиозная пропасть. То есть: каждая *часть* мира, принятая как *целое*, — уничтожает человека в самом себе, его сущность, его личность. Еще яснее: всякое созерцание посредственного и попутного как совершенного и окончательного — прерывает жизнь.

Наука, общественная деятельность, этическое самоусовершенствование, искусство, — принятые здесь как самоцель, как замена божества, как кумир, — лишают нас Бога и тем уничтожают нас. Миросозерцание эстетическое, мистическое, позитивное, этическое, пантеистическое, даже скептическое, — все они, окончательные, то есть взятые *как вера* — останавливают всякое движение жизни, извращают, изменяют человеческую природу. Когда мы определяем человека: это — скептик, это — позитивист, это — ученый, это — социалист, это — эстет, ведь мы именно определяем его в его *вере*, то есть стараемся угадать его главное и последнее, то, что дает тон и смысл всей его жизни. Говорят, конечно, и о людях, *идуших по известному пути*, эстет, нравственник, позитивист, — но такое определение не верно, ибо это определение склонности, направления, а не *веры*.

Идущие же — это люди, может быть, еще без веры — но наверно без кумира. Нам интересны в данный момент человеческие кумиры.

Кумир эстетики, собравший в последнее время вокруг себя столько поклонников, — вот один из страшных кумиров, его мы возьмем для примера. Эстетизм, с его многочисленными осложнениями, с декадентством, со входящей полумистикой, принятый, как исчерпывающее мирозерцание, создал особый род людей, им отравленных. Эстетика сама по себе не только невинна, но благодетельна — воистину как яд; хотя бы мышьяк; возьмите его в естественном количестве — он восстанавливает силы; сделайте его пищей — он убьет. Насколько *путь* эстетический праведен, легок и верен, равен другим путям и, быть может, даже короче некоторых, настолько страшна и разъедающая *вера* эстетическая. Душа верующих эстетов — кружевная и хрупкая, как старое дерево, насквозь источенное червями. Логичный, последовательный эстет всегда: безволен, циничен и несчастен. Безволен потому, что эстетический критерий подвижен и не представляет достаточного упора ни для какой борьбы; циничен — потому что подвижность этого критерия исключает понятие святости, и несчастен, благодаря тому что непременно и последовательно приходит к самоотрицанию, будучи уродлив с собственной же точки зрения. Верующий мистик — отрицает себя по несколько иной причине: потому что *определеннее* своей веры. Верующий в Добро пойдет по уклону отрицания многообразности жизни и, наконец, всей жизни. Скептик — живет в атмосфере лжи перед собой; прямое следствие его «веры» — скука; а он должен, напротив, считать, что ему все весело. И так далее, и так далее... Более «счастливы» еще люди, поклоняющиеся кумиру «мещанского благополучия», беспретенциозной земной сытости. Но такое «счастье» — дар, которому не завидует никто из неимеющих его.

Слишком много «вер» — при единой «религии»! «Часть» мстит тому, кто возводит ее в «целое». Раб мстит неосторожному, сделавшему его царем.

Элемент узкой «веры», проникая в творчество всякого рода, принижает его. Неподвижный, установившийся догматизм (будь это даже установившийся «а-догматизм») — смерть творчества; так: искусство верующего эстетика — не художественно; дела убежденного моралиста — безнравственны; наслаждения «веселого» скептика — безвкусны. Существует, есть в бытии только то, что или религиозно, или *еще* не религиозно, то есть сохраняет потенцию стать религиозным.

Автор «Стихов о Прекрасной Даме» еще слишком туманен, он — безверен: самая мистическая неопределенность его не окончательно определена; но там, где в стихах его есть уклон к чистой эстетике и чистой мистике, — стихи не художественны, неудачны, от них веет смертью. Страшно, что те именно мертвеннее, в которых автор самостоятельнее. Вся первая часть, — посвященная сплошь «Прекрасной Даме», — гораздо лучше остальных частей. А в ней чувствуется несомненное — если не подражание Вл. Соловьеву, не его влияние — то все же тень Вл. Соловьева. Стихи без «Дамы» — часто слабый, легкий бред, точно прозрачный кошмар, даже не страшный и не очень неприятный, а просто едва существующий; та непонятность, которую и не хочется понимать. Должно выписывать все, но вот конец одного такого стихотворения, конец, совершенно необусловленный началом, — оно так же непонятно:

...В роще косматый беззвучно дрожит.
 Месяц упал в озаренные злаки.
 Плачет ребенок. И ветер молчит.
 Близо труба. И не видно во мраке⁸.

Нет ни малейшего желания разгадать, какой «косматый беззвучно дрожит», какой ребенок плачет и откуда взялась труба, которая близко. И таких стихотворений много. Есть милое, детское — посвященное Лениной-д'Альгейм — «лучики, лучики»⁹, — а потом опять слабые кошмары, пока вновь не является «Прекрасная Дама», и рыцарь находит для нее нежные и новые слова.

«Она» — нужна поэту. Она одна, если он не затуманит Ее окончательно, не превратит в мглистое облако, а заявит и оживит — она может дать ему крылья и сделать голос его сильным. Не надо только, чтобы рыцарь хранил Ее Одну для себя одного, не верил, что Ей надо явить Себя и миру, а не только ему.

Я их хранил в приделе Иоанна,
 Недвижный страж, — хранил огонь лампад.

И вот — Она, и к Ней моя Осанна —
 Венец трудов — превыше всех наград...

Я здесь один хранил и теплил свечи.
 Один — пророк — дрожал в дыму кадил,

И в Оный День — один участник встречи —
 Я этих встреч ни с кем не разделил.

Эти встречи — он разделит их со всеми, кто его слышит; Прекрасная Дама хочет, чтобы хвалы Ее рыцаря были сильны

и громки и наполняли мир. И в наши серые, трезвые, весенние и холодные дни — нам отрадно на мгновение это солнечное слово о не сейчас необходимом, хотя бы и о туманном еще, о далеком, близком, вечном...

...В тихом воздухе — тающее, знающее...
Там что-то притаилось и смеется.
Что смеется? Мое ли, вздыхающее,
Мое ли сердце радостно бьется?

Весна ли за окнами — розовая, сонная?
Или это Ясная мне улыбается?
Или это мое сердце влюбленное?
Или только кажется? Или все узнается?¹⁰

